

**«МЕНЯ БУДУТ ЧИТАТЬ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ...»
Литературный вечер в честь 125-летия
со дня рождения К. А. Федина**

Представлены выступления участников литературного вечера, посвящённого юбилею К. А. Федина. Литературоведы и деятели культуры обосновывают необходимость нового прочтения произведений Федина, проведения новых изысканий на поле русской советской литературы. Также представлена не опубликованная ранее переписка Федина с Паустовским, архивные материалы о других русских писателях XX века.

Ключевые слова: К. А. Федин, русская литература 1920–1930-х гг., Серрапионовы братья, детская литература, письма писателей, А. М. Ремизов, А. Н. Толстой, И. С. Соколов-Микитов, К. Г. Паустовский, Б. А. Пильняк.

История циклична, как утверждал Гегель.

Вот серрапионов брат Михаил Слонимский (1897–1972), обращаясь к своей молодости, вспоминает начало двадцатых: «Сумбур в литературе царил неслыханный. Всё должно быть совершенно новым, под откос — старьё с классиками вместе!». Тогдашним литературным манкуртам, которых поминает Слонимский, противостоял его собрат по объединению Константин Федин. «Нашёлся человек, который, как бурлак, тянет и тянет груз, именуемый культурным наследством, — уважительно характеризовал Федина мемуарист. — Его язвят, над ним издеваются, а он тянет с упорством». Не мог сдержатъ восхищения талантом товарища и юный серрапион Лев Лунц, за сорок лет до воспоминаний Слонимского признавая:

«Лучше всех нас пишет Федин. Его традиция — истинно русская, благородная традиция Толстого-Чехова-Бунина. <...> Он пишет простым, честным языком, забытым и презираемым. Простой язык самый трудный сейчас. Но он — лучший. Чистейший. Федин — осколок настоящей прекрасной русской литературы» [2, 365].

У каждого из серрапионов было своё прозвище. Константина Федина величали «братом-ключарём» — может, именно за то, что надёжно и крепко

* Елена Максимовна Трубилова — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы РАН имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); info@imli.ru

держал он в своих руках ключи от гуманистических традиций классической русской литературы. Однако — пришли иные времена, взошли иные имена. В конце минувшего века открылись задраенные многие десятилетия шлюзы, в отечественную литературу был пропущен поток писателей из числа изгнанников, а также *инакомыслящих*, которым коммунистической цензурой долгие годы отказывалось в праве на существование. И «запрещённые» писатели на какое-то время затмили советских, «легальных» и оттого немного наскучивших. Мог ли предположить Слонимский в 1960-х, когда писал цитируемые выше мемуары, что пройдёт всего несколько десятилетий — и Федина, признанного классика, крупного общественного деятеля, высокопоставленного чиновника, вновь будут «язвить», а позже и вовсе пытаться аннигилировать наряду с другими знаковыми фигурами советской литературы? Увы, не один Федин — многие советские писатели, достойные читательской славы и вкусившие её при жизни, в одночасье переместились тогда в разряд забытых имён. Но, как говорится, время собирать камни, возвращать утериваемое. И нет худа без добра — возвращение этих имён на литературную авансцену в современных условиях, свободных от идеологических установок, в которых они были представлены застёгнутыми на все пуговицы, смогут приблизить к нам эти противоречивые фигуры, показать живыми, страдающими, страстными, ошибающимися — обычными людьми. «Обычными» — не в принижающем смысле, из часто цитируемого письма Пушкина к Вяземскому («Толпа жаждет видеть умаление великого, хочет видеть героя верхом на судне. Дескать, он мал, он низок — как мы»). Нет, не «умаления великого» жаждет пылливый сегодняшний читатель, а раскрытия, хотя бы приоткрытия, творческой тайны, психологической реконструкции эпохи.

Именно такому читателю адресована книга «Константин Федин и его современники: Из литературного наследия XX века» (М.: ИМЛИ РАН, 2016). Составленный из переписки Федина с его именитыми современниками, которая велась в наиболее сложный период XX века, этот уникальный труд впервые в прежде немислимом полноте откроет читателю яркую, многогранную, совестливую и мятущуюся, беспощадную к себе личность художника. Неслучайно том, презентация которого состоялась на юбилейном вечере писателя 27 февраля 2017 года, практически сразу стал библиографической редкостью.

Тот вечер в Малом зале Центрального дома литераторов в Москве был посвящён писателю, без преувеличения составившему славу русской литературы XX века, блистательному рассказчику, автору первых в нашей литературе романов об интеллигенции в революции («Города и годы», «Братья»), создателю лучшей книги о литературной эпохе первого советского десятилетия («Горький среди нас»), профессору Литературного института, среди воспитанников которого был Юрий Трифонов, его любимый ученик. Это был 125-летний юбилей писателя, однажды обмолвившегося в письме дочери-наперснице: «Меня будут читать через много лет, когда серьёзно захотят увидеть, что было в наше время».

Соблазнительно было бы начать рассказ о юбилейном вечере Федина с одного из первых вариантов названия его романа «Города и годы» — «*Позади нас*». Дескать, «будущее литературы — это её прошлое» (Е. Замятин). Однако до отказа забитый слушателями зал Дома литераторов, не поредевший и после трёх часов неформального, живого общения, словно напоминал, что

у знаменитого фединского романа был и другой вариант названия — *«Ещё ничего не кончилось»*. Так были озаглавлены фрагменты, опубликованные в 1922 году в сменовеховском журнале «Россия». Собственно, эта знаковая фраза стала своеобразным камертоном посвящённого писателю вечера.

Как подчеркнула в своём вступительном слове его ведущая — член-корреспондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы ИМЛИ РАН **Наталья Васильевна Корниенко**: «С колоссальным наследием Федина *ещё ничего не кончилось»*. Гости вечера рассказывали о своём открытии писателя, называли — практически не повторяясь (кроме единодушно признанного безусловным шедевром романа «Города и годы»), — свои заветные произведения у Федина: «Братья», «Старик», «Горький среди нас», «Наровчатские хроники», «Мальчик из Семлёва», «Сазаны». Федин действительно — у каждого *свой*. Ещё одним лейтмотивом вечера было повторяющееся во многих выступлениях применительно к юбиляру слово «правда»: Федин — писатель, «взыскующий правды».

Рядом с ведущей вечера сидел человек, невероятно похожий на юбиляра, только с бородой — Константин Александрович Роговин, внук писателя. Те же особенные фединские ясные глаза на пол-лица выделяли в зрительном зале внучку Федина Варвару Александровну Фомину и правнуков Ивана и Илью Роговиных. Илья, профессиональный и потомственный актёр, с чудесной молодой экспрессией прочитал отрывок из автобиографической повести Федина «Я был актёром». Казалось, в зале зазвучал голос самого писателя — настолько правнук походил на юного Константина Федина времён его пребывания в Германии.

На протяжении всего вечера на экране сменялись редкие фотографии из архива саратовского музея Федина, иллюстрируя рассказы выступающих, добавляя красок, воспроизводя эпоху. Особенно трогательным было соединение фотографии маленького Кости Федина со скрипкой, на фоне которой студенты-скрипачи из московской Консерватории исполнили несколько любимых Фединым мелодий.

Не раз с благодарным восхищением поминали собравшиеся Нину Константиновну Федину, дочь писателя, которая заложила основы саратовского Музея, передав безвозмездно из личного архива семьи десятки тысяч раритетных экспонатов, человека, который, как выразилась Н. В. Корниенко, «должен быть удостоен Государственной премии России — если мы воспитаны в русской культуре и хоть чуть-чуть достойны русской культуры».

Чтобы ощутить тёплую, душевную атмосферу этого литературного праздника, послушаем голоса присутствующих на нём учёных, писателей, преподавателей Литературного института, музейных работников и архивистов, родных Федина и внуков его ближайших друзей Соколова-Микитова, Всеволода Иванова, Бориса Пильняка.

С рассказа о филигранной работе Федина над словом начала своё выступление **Н. В. Корниенко**, упомянув, какое множество вариантов названия своего знаменитого романа перебрал писатель в поисках единственного точного:

«Боже мой, вот она, русская литература! Она в ёмкости образа, фантастичности образа, который нас поражает и выводит нас к какому-то другому ощущению жизни, нашей культуры и нашей истории. Долше всего у писателя

продержалось лаконичное название “Семь лет” (роман охватывает семь лет: от Первой мировой войны до 1920 года). Потом было название “Позади нас” (позади нас — всегда история). Фантастическое название “Упавшее небо” сменяет совсем простое — “Провинциальный роман”. Потом было название, которое Федину очень нравилось, — “Бурелом”. (Наша история — это бурелом, в котором мы находимся, копошимся, пытаемся познать её; в 1957 году писатель-эмигрант Александр Буров выпустил в Париже трёхтомный “роман-летопись поколений последних императоров” “Бурелом”.) Следующее название — “Побеждённые” (роман с таким названием появился у Ирины Головкиной, внучки композитора Н. А. Римского-Корсакова). Потом были названия “Медленный огонь”, затем “Города”, “Сорванный мост” (мост, по которому можно из дореволюционной жизни перейти в новую, революционную реальность). В 1923 году возникает окончательное название — “Города и годы” [1, 3–44]. Этот роман входит в золотой фонд классики русской литературы.

Федин — писатель с фантастической биографией. Его современники — люди, которые пришли в литературу из революции и с фронтов Гражданской войны, — это люди с биографией. Без этой биографии у нас не было бы ни романа “Города и годы”, ни “Тихого Дона”, ни “Чевенгура”, не было бы у нас и “Белой гвардии”. Это люди, которые историю изучали не по книжкам, она прошла через их жизнь, через их сердце.

В нынешнем газетном мусоре любят повторять: “Федин — писатель-коммунист”, “Федин всю жизнь ото всех скрывал, что он был в партии, а в 1921 году вышел из неё”. Ничего он не скрывал — в опубликованной ещё в 1922 году автобиографии он расскажет, как он в партию вступил, как он из неё вышел. И вот здесь есть совершенно потрясающее собственное его определение — что такое была *его революция*. До этого был плен, потом бегство из плена, то есть возвращение в Россию в 1918 году с толпой хромых, безруких, чахоточных и умиравших, которые звались солдатами российской армии. Потом была голодная Москва. Потом Сызрань. “И здесь протекала моя революция. Я говорил речи (ни раньше, ни теперь я не сказал бы и двух слов) в Пролеткульте, с балкона, в исполкоме, в театрах, на площадях, по-русски, по-немецки. Усольским мужикам — о мировой революции, мадьярам и немцам — о принципах трудовой школы, сызранским мукомолам — о спартаковцах и Бела Куна, школьникам — о Советской Баварии и многих других прекрасных вещах. Я основал журнал и из кожи лез, чтобы в нём писали репьевские, паньшинские, соловчихинские мужики о мировой революции. Я редактировал газету, был лектором, учителем, метранпажем, секретарём городского исполкома, агитатором”. Потом Петербург. Здесь вторая схватка с голодом. Здесь отдельная Башкирская кавалерийская дивизия. Канцелярия, митинги, армейская газета, редакция, встречи. “Моя революция, кажется, прошла. Я вышел из партии, у меня тяжёлая полка с книгами, я пишу” [3, 27–28]. И мы понимаем, что, не будь этой биографии, не было бы романа “Города и годы”, не было бы “Братьев”. Автобиография написана весело — они были молоды, они так на себя смотрели. Но, конечно, роман “Города и годы” вырастает из колоссальной связи с реальностью. И, как Федин напишет в набросках к роману, это “книга о войне, любви, революции и бандитах”. Потом слово “бандитах” он вычеркнет, но бандиты в романе останутся, никуда не исчезнут — какая же гражданская война без бандитов! И это тоже правда.

Как великой правдой является то чёрное солнце, которое появляется в финале романа “Города и годы”, где на пустыре остаётся с мольбой — то ли к небу, то ли к нам с вами — с мольбой “Помогите!” — Андрей Старцов. И это чёрное небо встретится нам в ещё одном великом романе, завершив ещё одну книгу “о любви, о революции, о бандитах”, — в романе “Тихий Дон”. И вот в этом, наверное, познание истории. Давайте же поделимся сегодня друг с другом нашими размышлениями о Федине, о нас и о том, что нам ещё предстоит. А открыть этот вечер я предлагаю родине Федина, которую он любил, куда завещал передать свой архив и библиотеку. В отличие от Москвы, Саратов достойно выполнил культурную миссию, которая положена нам, детям двадцатого века, — они создали единственную в нашей стране экспозицию “Дом русской литературы XX века”. И это удивительно точное название, потому что дом — это там, где сберегается человек. Саратовский музей — это дом, где сберегается русская культура. Я с большой радостью предоставляю слово директору Музея Константина Федина Наталии Юрьевне Щелкановой».

Н. Ю. Щелканова:

«Мне необыкновенно приятно быть сегодня здесь, на этом вечере, воочию убедиться в том, что Константин Александрович Федин — не только наш, не только саратовский. Хотя я глубоко убеждена в том, что всё-таки хорошо, когда у большого писателя есть малая родина. Как замечательно, что есть город, большой город на Волге, в котором он родился, в котором стараются сохранять память о своём выдающемся земляке. В историческом центре города Саратова, буквально в двух шагах от набережной красавицы-Волги, есть площадь, которая носит имя Константина Федина. На этой площади установлен памятник писателю работы скульптора Кибальникова. Этот памятник запечатлел Константина Александровича в задумчивой позе: взгляд его устремлён на великую русскую реку, которую Федин очень любил. “Волга — моя родина, — говорил он. — Каждое новое свидание с ней волнует меня, точно, ступив на её берега, я попадаю в отчий дом”. В нескольких десятках метров чуть выше по улице Октябрьской находится Государственный музей Константина Александровича Федина, который вместе с памятником образует единый музейный ансамбль. Решение Совета министров СССР о создании музея народного писателя было принято в 1979 году. Уже через два года он открылся — в июне 1981 года. Музей открылся в здании Сретенского начального мужского училища, в которое в 1899 году маленький светловолосый мальчик Костя Федин пришёл “грамоту изучать”, как говорил он сам впоследствии. Вот в этом здании располагалось училище, которое и окончил Константин Александрович. Но это здание дорого ещё и тем, что здесь, при училище — как было заведено в XIX веке — жили учителя. Так, в этом здании жил родственник по линии матери Семён Иванович Машков. Семья Машковых была очень близка к семье Фединых. В этой семье воспитывалась до замужества мама будущего писателя, здесь, в этом здании, Константин Александрович помнит себя с 3–4-летнего возраста. Неслучайно это здание запечатлено в романе “Первые радости” и в очерке “Встречи с прошлым”.

Основой музейной коллекции стал богатейший архив писателя, который в дар музею передала его единственная дочь Нина Константиновна, и это её решение было поддержано её детьми, внуками писателя, Константином

Александровичем и Варварой Александровной, за что мы бесконечно им благодарны. Первая экспозиция рассказывала о жизни и творчестве Константина Александровича Федина, и просуществовала она десять лет. В 1990-е годы в силу разных причин было принято решение о расформировании экспозиции и создании новой. В 2007 году торжественно открылась новая экспозиция, она называется “Дом русской литературы XX века”. Вообще, я свою задачу вижу в том, чтобы немножко о музее рассказать, хотя понимаю, что это совершенно неблагоприятное занятие. О музее нужно не рассказывать, в него нужно приходить и видеть всё своими глазами. Но, может быть, получив общее представление о музее, очень беглое и очень общее, кто-то захочет приехать в Саратов. Мы будем бесконечно рады видеть вас у нас в гостях.

Материалы богатейшего архива, которые передала нам семья, потомки Константина Александровича, позволили сделать совершенно уникальную вещь — построить экспозицию таким образом, чтобы она рассказывала не только о творчестве Константина Федина, но и обо всём процессе развития литературы XX века. И личность, фигура Федина показана в общелитературном, я бы даже сказала, общекультурном контексте. Из зала в зал перед нами действительно проходят “города и годы” Константина Федина в историческом контексте. Этому способствует и анфиладное расположение залов. Внутренний периметр экспозиции посвящён биографии и творчеству Константина Александровича, по внешнему периметру мы наблюдаем исторические и литературные процессы в нашей стране. Первый зал традиционно носит условное название “Родословная” и посвящён детским и юношеским годам писателя, проведённым в Саратове. Мемориальные вещи, уникальные документы, в том числе выписка из метрической книги о рождении, редкие семейные фотографии рассказывают о начале жизненного пути будущего писателя. А по внешнему периметру представлены материалы литературы XIX века, поскольку Федин как писатель формировался на лучших произведениях русской классики. Я не буду перечислять, какими раритетами мы обладаем благодаря семье, достаточно сказать, что у нас есть автографы Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Некрасова — этот перечень можно долго продолжать.

Второй зал называется “Годы странствий Константина Федина”. В 1908 году он уезжает из Саратова, посещает его только наездами, но никогда не забывает. Он переезжает в Козлов, затем в Москву, наконец, в Германию, где он вынужденно провёл почти четыре года. Целый зал посвящён этому периоду в жизни Федина, потому что он был чрезвычайно важным в биографии, даже, наверное, решающим в формировании мировоззрения. Представьте, юный человек двадцати двух лет оторван от своей семьи, от близких, у него нет никакой связи с родными — это, конечно, безумно тяжело. У него нет денег, ему надо как-то прожить. Но в то же время это уникальная для него возможность соприкоснуться с европейской культурой вживую. Он в совершенстве овладел немецким языком, он читал в подлиннике немецких классиков. По внешнему периметру представлены все самые яркие течения Серебряного века. Автографы Блока, редкие фотографии Блока, Пастернака, Ахматовой, ярчайшая живопись, графика художников этого времени представлена в этом зале.

Третий зал — 1920-е годы, это расцвет творчества Федина, это история романов “Города и годы”, “Братья”, которые мгновенно узнала вся Европа, которые уже в 20-е годы были переведены на многие европейские языки, это Серапионовы братья. Следующий зал посвящён трагическому периоду в истории нашей страны, это Великий перелом, и для Константина Александровича этот перелом был связан и со многими личными переживаниями, обо всём этом рассказывается в четвёртом зале. Пятый представляет литературу 1950–1980-х годов, все яркие знаковые литературные явления этого периода, в которых Константин Александрович уже участвует не только как писатель, но и как общественный деятель. Вначале он возглавил Московский союз писателей, затем Союз писателей СССР, вёл очень большую общественную работу. Зал рассказывает о его работе в Литинституте, в Академии наук. И, несмотря на свою гигантскую занятость, Федин не забывает Саратов. Он постоянно поддерживает связь с саратовскими писателями, неоднократно приезжает в наш город. Последний, шестой зал экспозиции мы называем “Кабинет писателя”. Здесь воссоздана гостиная дачи в Переделкине и, что самое ценное, кабинет писателя. Представлены книги, многие с автографами, с дарственными надписями. Рабочий стол писателя, на котором все личные его вещи. Любимое кресло, любимый плед, любимая трость, календарь, открытый на последнем дне жизни Константина Александровича. Как вы видите, не только архив писателя, но даже мебель и очень многие личные вещи передали нам наследники, и мы счастливы видеть их всегда в нашем городе. Последние несколько лет по понятным причинам не приезжает Нина Константиновна, но Константина Александровича и Варвару Александровну мы ежегодно встречаем на наших Фединских чтениях. Это добрая традиция нашего музея, Фединские чтения уже стали своеобразным культурным брендом Саратова, на них собираются не только музейные сотрудники, но и ведущие учёные страны. Свою задачу сейчас мы видим в том, чтобы, популяризируя творческое наследие писателя, все-таки самим осмыслить его значение, его роль в литературном процессе и способствовать формированию объективного взгляда посетителя на события, на факты прежде всего на источник, на архивный документ, на музейный предмет».

Ирина Эриковна Кабанова, заместитель директора Музея Федина по науке, составитель книг «Свела нас Россия: Переписка К. А. Федина и И. С. Соколова-Микитова. 1922–1974», «Константин Федин и его современники»:

«Судьба свела нас с Натальей Васильевной Корниенко — человеком, без которого наши музейные коллекции не имели бы возможности такой блистательной научной публикации. Самое же главное — наконец теперь все они были собраны воедино, а не разодраны, как прежде, на кусочки различными исследователями. Благодаря Наталье Васильевне возникла мысль публикации различных пластов эпистолярия, писем, которые частично хранятся в нашем музее, частично не только в нашей стране, но и за рубежом. И свести их вместе, дать вот эту живую жизнь писателям — это так безумно интересно, это такой благодарный материал! Мы работали над ним, наверно, в течение шести лет. И вот перед вами первая книга. На подходе вторая... И я думаю, что вот такого рода труды дают возможность отказаться от тех мифов, иллюзий,

легенд, часто недобрых, которые вокруг писателей складываются, и дают нам реальную картину их жизни и творчества. Первый герой нашей книги — это Фёдор Сологуб. Сотрудник Пушкинского Дома Татьяна Алексеевна Кукушкина подготовила замечательную взаимную переписку писателей. Это такая объёмная любопытная публикация. А дальше идут совсем небольшие публикации, всего по два-три письма. Пишет Анна Андреевна Ахматова Константину Александровичу, но из этого вырастает целая удивительная история их отношений. Эту публикацию подготовила сотрудник нашего музея Лариса Юрьевна Коновалова. Здесь и чудесные редчайшие фотографии, которые Ахматова дарила Федину с дарственными надписями на обороте. Небольшие записочки, которые надо было сначала атрибутировать, а потом воссоздать картину отношений. Михаил Кузмин — одно письмо, но целая страница русской истории открывается. Ходасевича одно письмо — и тоже целая страница открывается в статьях, которые предваряют публикации. Затем идёт Евгений Замятин. Это совершенно фантастическая история, как говорят все, кто держал нашу книгу в руках. Лариса Юрьевна Коновалова соединила эти письма, дала блистательную сопроводительную статью и подробнейший комментарий. И что очень важно — мы привлекали не только письма. Мы поднимали автографы, они входят в ткань этого рассказа о писателях. И самое главное — открыли дневники Федина наконец в той мере, в какой позволяет эта публикация. Потому что, конечно, отдельно надо публиковать дневники Федина — удивительный документ эпохи. Но всё, что можно было извлечь по поводу этих отношений, мы взяли.

Не только с писателями был дружен Федин, но и с критиками. Вот, например, переписка с Александром Воронским, где Федин предстаёт не как писатель, а как человек, который отстаивает интересы и свои литературные, и близких ему серапионовых братьев. Вячеслав Шишков — ещё один “мой” герой, помимо Воронского, переписку которых я подготовила. Один из самых душевных и близких друзей, так же как Соколов-Микитов. Затем совершенно неожиданная — даже для нас — взаимная переписка с Всеволодом Ивановым. И переписка с Владимиром Лидиным — писателем полузабытым сейчас, чрезвычайно интересным, открывающимся глубоко, неожиданно, так же как и Константин Федин, в этих письмах. Письма Зощенко Федину более-менее известны, они по разным журналам были разбросаны. А нашлись в Пушкинском Доме ответные письма Константина Федина, и наконец эта переписка опубликована полностью. Удивительная история преданной эпохой дружбы была воссоздана. Завершает книгу переписка Константина Александровича Федина с Корнеем Ивановичем Чуковским — тоже очень объёмная, чрезвычайно глубокая и интересная. В каждом из этих циклов переписок Федин предстаёт не только как человек огромных разносторонних литературных интересов, не только как человек, как он сам говорил, “отравленный литературой” (литература — это его главная страсть в жизни, несомненно), но как человек, искренно умевший дружить, умевший помогать своим друзьям в самые тяжёлые минуты жизни, о чём, может быть, в силу своих личностных качеств он никогда не говорил громко, вслух. Вот чего в нём никогда не было, так это самопиара. Это удивительное для нас сейчас качество, в него трудно поверить нашим современным писателям. Но это действительно было так.

И в продолжение мысли Натальи Васильевны хочу сказать, что, конечно, открытие Федина нам предстоит — и Федина-писателя, и Федина — общественного деятеля, который отстаивал действительно интересы литературы. Это было главное для него в двадцатые годы, когда он был с серапионами. Совершенно неизвестная история — его издательская деятельность, в Издательстве писателей в Ленинграде. Что он сделал там, это фантастика, уверяю вас. Он вывел в свет такие произведения мощнейшие, притом самых разных направлений, далеко не близких ему часто, которые, может быть, никто, кроме него, опубликовать не мог. Затем эта история с Союзом писателей, несомненно. И здесь его роль тоже предстоит изучить очень внимательно, тщательно и честно. В заключение скажу: мы, музейщики, счастливы, что работаем с таким немислимым архивом, который достался нам, саратовцам, благодаря наследникам Константина Александровича. Мы безумно рады, что сумели благодаря Институту мировой литературы опубликовать частично сейчас этот бесценный пласт культуры. Так счастливо думать, что был такой человек, полностью посвятивший себя литературе. В 1942-м, в дневнике он написал: “Главная цель писателя — говорить правду. И быть писателем — это быть с тоской о правде”. Может быть, в значительной степени утерянное качество. И ещё одно утерянное качество, о котором я хочу вам сказать. Меня в своё время, когда я читала дневники Федина, поразила удивительная вещь. Он часто пишет: “Мне стыдно”. И он пишет это не по отношению к соседям по литературе. Он пишет это о себе. Ему стыдно перед лицом русской классики. Ему стыдно перед лицом Александра Блока... И мне кажется, что если мы не будем изучать эту настоящую литературу, нам тоже может быть стыдно. Но я надеюсь, что мы сделаем всё, чтобы нам действительно не было стыдно».

Елена Дмитриевна Михайлова, сотрудник Государственного литературного музея:

«Поскольку меня представили как человека, который тоже занимается историей литературы, скажу, что Государственный музей Федина в Саратове — это одно из самых-самых серьёзных наших научных музейных учреждений. Я рада, что у Федина есть такое продолжение. Потому что жизнь музея — это жизнь писателя. И это жизнь не только этого писателя, но всего того окружения, которое было рядом с ним все эти “города и годы”. И это, конечно, большое счастье. Мне хочется сказать несколько слов о том, как музей начинался. Он начинался буквально с нуля. Нина Константиновна героически передала нам большую часть мемориальной коллекции. И естественно, что та часть, которая была передана, поставила перед нами задачу сделать музей мемориального типа вместе с историко-литературной экспозицией. Потому что тогда материалы давали возможность сделать только такой музей. И создан музей, в котором была большая мемориальная часть, посвящённая годам учения Федина, воссоздавалась — естественно, это была научная реконструкция — квартира учителя его любимого. Мы были в очень сложных условиях. Два года подготовки. Когда начался собственно монтаж, была 35-градусная жара, в здании, извините, ещё не было туалета. Мы уходили в полночь из здания музея и думали о том, как сохранятся экспонаты, потому что входные двери не были подвешены. И когда музей открывался и приехала Наталья

Владимировна Шахалова, директор Литературного музея, был ещё один такой интимный момент. Представьте себе — саратовская жара, а она приехала из прохладной Москвы в кримплене (был такой материал, очень тяжёлый для жаркой погоды). Вместе с представителями министерства культуры они пошли на рынок, и единственное, что смогли там купить, — это ситцевый халатик на пуговках. И вот в этом халатике Наталья Владимировна произносила речь на открытии музея. Это деталь, но деталь той жизни, которая была для меня, например, и для всех, кто это делал, очень счастливой. Саратовский музей открывался в то время, когда вообще был бум литературных музеев. Это была, казалось бы, эпоха застоя, начало 80-х годов, но музеи вырастали, как грибы. И я думаю, что первым таким серьёзным событием тех лет было именно открытие музея Федина. В эти же годы открывался и музей Фадеева в Чугуевке, и музей Блока в Петербурге, и многое другое. Но музей фединский был исключителен тем, что благодаря семье, которая продолжала дружить с музеем и передавать и передавать архивы, он рос внутренне. И абсолютно закономерно превратился в такой центр, где рассказывается о литературе огромной эпохи. Я преклоняюсь перед его коллективом, который постепенно вырос не только в хороших музейщиков. Они выросли в большой научный коллектив. Саратовский музей Федина — это один из тех музеев, которым можно гордиться, потому что он в себе действительно несёт всё: и литературу, и просвещение, и педагогическую работу, и воспитательную работу с самыми разными поколениями, потому что литература — то самое важное в нашей жизни, что воспитывает человека. Кроме того, это действительно очень серьёзное научное учреждение. Их научные конференции — чему бы они ни были посвящены: творчеству Федина, каким-то проблемам литературы или чисто музейным проблемам — это всегда очень высокий уровень. И я рада тому, что у нас в России есть такой музей, и тому, что Федин дал нам возможность продолжить его жизнь жизнью этого музея».

Александр Сергеевич Соколов, ректор московской консерватории, внук Ивана Сергеевича Соколова-Микитова:

«Мне очень приятно провести этот вечер именно здесь, рядом с людьми, с которыми мы уже давным-давно не просто знакомы, а, можно сказать, унаследовали великую полувековую дружбу. Я имею в виду Константина Александровича — Костю и Варвару Александровну — Варю. Тут уже мелькали фотографии, в которых нас трудно узнать, поскольку мы очень непохожи на нас сегодняшних. Это действительно то наследие семейной дружбы, которое продолжилось теперь уже и в следующих поколениях, в детях Вари и Кости. Сегодня я хотел бы очень коротко остановиться на одном — на эпистолярии — этой какой-то совершенно особой, сокровенной грани творчества. Действительно, помимо художественного творчества, которое остаётся на первом плане, существует не менее ценное — то, что содержится в письмах. Неслучайно сегодня многим выступающим хотелось зачитывать здесь письма. Вон тот томик, что стоит на второй полке, с которого, собственно, музей Федина начал подвижническую работу по подготовке очень непростого материала — “Свела нас Россия: Переписка К. А. Федина и И. С. Соколова-Микитова. 1922–1974” — это тот самый полувековой след очень близкого общения Соколова-Микитова и Федина. Это было взаимное

обогащение, которое в каком-то смысле не имеет аналогов. Если посмотреть на фотографию на обложке, она очень странная. Федин, как денди такой лондонский, в шляпе, в костюме. А рядом с ним — в тулупе овчинном, совершенно какой-то явно выпадающий из этого контекста Соколов-Микитов. А что стоит за этой фотографией? Удивительный замысел, замысел, который не был реализован, но который тоже есть история литературы, потому что именно в это время их пути разошлись и в то же время сблизились: Соколов-Микитов уехал в свою родную деревню, в Кочаны, а Федин остался в столице. И приезжал к другу в Кочаны и, можно сказать, обрёл очень много в этом новом соприкосновении с той Россией, которую, конечно, иначе бы никогда и не узнал. И тогда из этих писем, для той поры — а это 20–30-е годы — совершенно удивительно смелых и откровенных, возникло фактически такое двуединство России, России городской и деревенской. И вот постепенно у Федина и Соколова-Микитова возникла эта идея — создать сочинение в эпистолярном жанре, они даже придумали его название — “Петроград — Кочаны”. То, что эта задумка не была реализована, это уже вопрос, так сказать, не литературы, а истории, социологии и политики. Тем не менее именно в этом томике собраны эти удивительные письма, которые читать не просто интересно — это откровения, которые могли появиться именно на таком уровне литературного мастерства, а главное, на таком уровне человеческого доверия. Саратовский музей — это исток, исток фединского и творчества, и жизни, волжский исток, в нём вполне могло быть и волжское устье. Поскольку, когда сгорела дача в Переделкине, семья Федина довольно живо обсуждала перспективу построиться на Волге, только уже не на саратовском побережье, а на тверском, где как раз жил Соколов-Микитов и где собственно наше это общение с Варей и Костей началось. К сожалению, семейный совет Фединых не пришёл тогда к решению построиться там, все-таки Переделкино перетянуло, но именно на Волге очень многое происходило в дальнейшем сближении Соколова-Микитова и Федина. Очень скоро у нас будет ещё один повод для встречи, потому что они абсолютные ровесники — в мае будет 125 лет Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову. Так совпало, что я сегодня получил по почте подтверждение, что теперь дом-музей Соколова-Микитова стал объектом культуры регионального уровня, и туда, естественно, сейчас будет очень много возможностей приехать посмотреть. Там всё цело, живо, там есть фотографии Константина Александровича, там есть всё, что осталось в памяти у нас, и поэтому заранее привлекаю ваше внимание и приглашаю. Ну а я в ту пору был тоже причастен к эпистолярному, потому что каждое утро на велосипеде ехал из избушки лесной в дом отдыха, где жил Федин, вёз письмо. Потом ждал, пока будет написан ответ, получал конфету и ехал обратно. Я был очень заинтересован в активизации этой переписки. И естественно, это тоже в какой-то степени отражено в этом томике, что мне, конечно, очень лестно и приятно. Ну а поскольку вы уже могли заметить, что здесь мелькала фотография, где молодой Костя Федин играет на скрипке, а также сегодня здесь уже была прочитана замечательная его проза, связанная с музыкой, естественно, я пришёл не с пустыми руками. Поэтому наше дружеское соседство, ЦДЛ и московской Консерватории, получит сегодня своё очередное подтверждение».

Последовало выступление лауреата международных конкурсов, студентки Московской консерватории Дианы Кафаровой (аккомпаниатор — Иван Кашцев).

Елена Иосифовна Погорельская, ведущий научный сотрудник Государственного Литературного музея:

«В сравнении с саратовским музеем у нас в отделе рукописных фондов Государственного литературного музея фонд Федина по объёму очень скромный, всего 34 единицы хранения (фонд № 195). Этот фонд составлен из разных поступлений, в 60–70-е годы материалы передавали сам Константин Александрович Федин и Нина Константиновна Федина. Не так давно, по-моему, в 2014 году он пополнился фединскими материалами, которые пришли в составе фонда Паустовского, по линии его второй жены Валерии Владимировны Навашиной. Речь идёт о пятнадцати письмах Федина Паустовскому и двух шуточных рисуночках Федина на таких маленьких карточках формата визитки, «Коста» и «Валя». Эти пятнадцать писем по большей части отправлены из Переделкина, небольшие такие записки. Одна открытка отправлена из Берлина в декабре 1945 года, одна — в 1946-м из Нюрнберга, два последних письма из Сухуми. Письма Федина охватывают период в семь лет, с ноября 1941-го по ноябрь 1948 года. В том же фонде одно письмо Паустовского Федину 1949 года. Среди корреспондентов Паустовского в составе этой коллекции такие выдающиеся люди, как Аркадий Гайдар, Семён Гехт, Нина Николаевна Грин, Владимир Ермилов (не такой выдающийся, конечно), Борис Лавренёв, Николай Никитин (“Ритор”), Максим Рыльский, Иван Соколов-Микитов, Александр Таиров, Рувим Фраерман. Но, пожалуй, самые интересные и содержательные и стилистически блестящие письма принадлежат Константину Федину. Они и одногодки — в мае мы будем отмечать 125 лет Паустовскому — и тёзки. Вначале были на “вы”, по имени-отчеству, а когда перешли на “ты”, то соответственно Федин стал обращаться к Паустовскому “Коста”, поскольку Паустовский очень часто так подписывал свои письма к близким людям. Паустовский в свою очередь называл его “Костя”, а Федин всегда подписывался “Ваш” или “твой Конст.” или “твой Конст. Федин”. Я выбрала из писем, которые были отправлены из Чистополя, из эвакуации, числом третье, постараюсь его прочитать, оно не самое маленькое. Я не могу сделать какие-то купюры, потому что, вы сейчас убедитесь, в этом письме есть все: есть и лирика, есть и юмор, есть и драма войны, есть и трудности жизни в эвакуации, есть и семья, есть и дружба. Ну, судите сами.

Чистополь, 14 мая 1942 года. Текст будет воспроизведён впервые.

“Дорогой Константин Георгиевич! Был день, когда мы, все трое, получили от всех вас троих по письму. Эта милая, сердечная и обдуманная атака растрогала нас, и расчёт был точный. Мы начали с того дня дебатировать возможный переезд из Чистополя. Куда? Не знаем. Я назвал бы этот период со дня получения ваших писем «среднеазиатской сессией». Но трудно назвать как-нибудь тот смутный разброс чувств и желаний в соединении с фактами окружающей нас действительности, какие наполняют наше бытие последних недель. Скажем, с ледохода. Как гудят пароходы, прощаясь с затоном, если бы вы слышали! Дора Сергеевна плакала горячими слезами целых две недели. Гудки разрывали её сердце напополам. Весь город, город беженцев, был охвачен безумием отъездов, переездов, бегств, командировок, вызовов, расставаний,

отлётов и пеших уходов в неизвестность. В этом бреде мы ложимся спать, с этой манией пробуждаемся. Но дело не только в гудках. В разливе, которому нет предела, мы живём как на венецианской лагуне, в лихорадке весны. И не только баржи, пристани, дощаники и тархатящие катеры рыбзавода мутят наш рассудок. Увы, есть факты погуще и потрезвее. Их скучновато перечислять: деньги, питание — сто тысяч мелочей, слагающих жизнь и обуславливающих успех даже подённой работы. А если работа чуть повыше подённости, как тогда? Может ли она, впрочем, быть повыше? И в мирное время дилемма «искусство–заработок» казалась пошловатой, а в войну — тем паче. Но она-то и движет нашей профессией. Рассуждения эти могли бы быть заменены простой жалобой на зарплату о рубле, но примешивается всё-таки к рублю робкая тень искусства. И вот, пожалуйста, — с конца февраля я пишу пьесу! Да-да, современную четырёхактную большую пьесу! И скоро надеюсь кончить, потому что обретаюсь уже в дебрях развязки, в четвёртом акте. Крёстным отцом пьесы — как все крёстные, неожиданно — был Борис Пастернак. Он уговорил меня заключить договор с Управлением по делам искусств РСФСР и сам тоже подписал. Как видно, чтобы впрыснуть мне куража. Давнишние мои намерения написать пьесу ожили, и я стал работать с необыкновенным увлечением, как давно не писал вообще. Но теперь, к четвёртому акту, возросли сомнения, и я слегка повял. Вы знаете, что в конце пьесы надо быть больше драматургом, чем в начале. Требуется смелость, наглость, пошлость, вообще качества театральные, отсутствующие у нас, у серой скотинки возвышенной, благородной и тончайшей прозы. И ох, как трудно заставить героев — выходцев из прозаического воображения — ходить по сцене с пистолетом, целоваться, кричать и топтать ногами. Но, так или иначе, это придётся сделать. Ибо договор есть договор. Меня вызвал МХАТ (пришло письмо от Хмельёва и Виленкина в Саратов) читать пьесу. Я не обольщаюсь. Помните наши разговоры о театре в Переделкине? Но всё-таки МХАТу пьеса может показаться приемлемой, и в этом случае я буду канителиться с ними года два, пока они не засунут мою рукопись за декорационный задник. Посему я решил ответить на призыв согласием и в начале июня ехать в Саратов. Это обстоятельство острейшим образом выдвинуло на очередь сессии вопрос о Нине. Она потеряла семестр в своём ГИТИСе, однако ей обещано, что если она явится в институт ко второму семестру, то год не пропадёт. Сейчас — начало второго семестра, институт — в Саратове, я еду туда. Рассудите, Константин Георгиевич, как поступить? Я не колебался бы, если бы в Саратове не было голода. Но что ожидает Нину в такой момент? В одиночестве или даже в семье, если мы тоже переедем туда, когда ей придётся работать вдвойне, чтобы догнать курс, а есть не более подопытного кролика. Вот тут-то и погадай. Нина тянет в Саратов, я консервативнейше стою за Чистополь, Дора Сергеевна просто плачет на пароходы независимо от того, куда они идут. Мне кажется, что лето решит за нас, что делать. План же мой пока таков: я еду в первых числах июня в Саратов, вероятно, с Ниной. Она присматривается, возможно ли устроиться жить в Саратове, я еду на короткое время в Москву, устроить денежные дела, сдать пьесу, сосватать её какому-нибудь театру, затем мы собираемся снова в Чистополе и возобновляем сессию. Среднеазиатская проблема, Вы понимаете, отнесена событиями на дальний план. Но как нам дорого ваше общее желание улучшить нам быт переброской в тёплый край! Как дорога дружба! Скоро год, дорогой Константин Георгиевич, как мы с Вами встретили страшную весть на террасе моей дачи. Страшный год! Непрерывно, почти ежедневно получаю я вести о несчастном Ленинграде. Умерло множество моих близких друзей и знакомых, продолжают безвыходно мучиться десятки отлично известных мне людей. Помочь им ничем нельзя. Беспомощность эта иногда невыносима.

И очень жалко друзей, с которыми ушли в вечность чудесные дни надежд и радужных заблуждений. А мы ещё живём и не хотим расставаться с новыми надеждами и что-то делаем. Помните наше первое чувство, чувство сознания тогда, на террасе, что бы там ни произошло, а началась новая эпоха, за неё идёт борьба. Хотя мечта о *последней* войне уже обманула нас с Вами один раз. Ведь прошлую войну тоже называли последней, и именно наше поколение хвасталось, что превратило её в последнюю. Однако пусть это будут иллюзии. Давайте ошибаться, иначе жизнь невозможна. Обнимаю Вас крепко, дорогой. Желаю успеха и здоровья. Милой Валерии Владимировне сердечный поклон. Всегда Ваш, Конст. Федин».

Н. В. Корниенко: «Вот поверьте, все письма Федина — они такие. Это Литература. Без письма и без дружеской переписки русская литература невозможна, это важнейшая её часть».

Владимир Павлович Смирнов, профессор, заведующий кафедрой новейшей русской литературы Литературного института имени А. М. Горького: «То, что происходит сейчас, это восстановление справедливости. И не только нравственной справедливости, а просто — радость назвать вещи своими именами. Есть, конечно, огромный художник и — попытки его стереть, исказить. Вы знаете всё это. Они чудовищно глупы, в сущности, потому что подлинность всё равно победит. И уровень такого художника, как Федин, — в его смысле, совершенно таком метафизическом (слова нормальные не приходят в голову сейчас). И если говорить о европейскости ещё, неизбежной случайности, замечательной, которую никто не отменял и которая есть одна из форм выражения собственно русского духа и русского художества. Федин в этом отношении был поразительным. Помню, мальчишкой был ещё, кончал десятый класс, готовился к экзаменам. Это было в городе Калининграде, он же Кёнигсберг. Остатки каких-то немецких домов, где наша семья жила. Папа подписался на собрание сочинений Федина в шести томах, такое зелёно-голубое. И я стал его читать. Пришёл том с романом “Города и годы”. И меня это поразило. Потому что я считал: то, что вокруг было, то, что называлось советская литература, — ну, всё-таки это, мягко говоря, не Стендаль. И я был, мальчишка, совершенно поражён. Не всё понимая, не всё чувствуя, но — сам по себе характер, такого рода художественность, которую нельзя подделать, потому что смысл любой художественности в том, что она не подлежит подделке. Никогда и нигде это не будет, как бы ни старались. И то, что сделал Федин потом... Помню совершеннейшее удивление. Наше поколение, слегка заброшенное в разные дела и обстоятельства и не очень-то многое понимающее, с невыработанностью стилистически объяснимых начал жизни — не только искусства. Это ведь сложно всё, к этому надо брести, как-то ковылять. Тем более, что мы тогда вырастали с чувством, что там — да, а вот у нас, в России, всё не то: дороги хреновые, это не то, то не то. Понятно, что всё это надо перенести на власть. Ну где-то это всё гуляло и свистело. И тут — книга Федина “Горький среди нас”. Я никогда специально Фединым не занимался, не буду притворяться. Я просто Федина любил всегда. Мне нравилась его удивительная тонкость, чувство равновесия, без которого нет художественности, как сегодня ни настаивали бы на разных диссонансах как мирозерцания. Примеры, которые обычно приводят как доказательство

последнего — Хлебников, Джойс, — они замечательные, но в единственном таком варианте, потому что в русской культуре бывают и такого рода, что ли, изгибы судьбы. Федин был одним из слушателей завещания блоковского о назначении поэта, у него есть замечательная работа о Блоке. Это ведь у Блока не просто эссе, это великая вещь — это откровение, рождённое даже не человеком, а духом, который присутствовал в Блоке. И Федин сохранял потрясающее чувство европейской культуры как органической части культуры и мирозерцания русского. Ибо любое ограждение ведёт только к провинциализации — духа, сознания, всего. Русскую литературу измерять лекалами политико-социальными невозможно, не для этого она пришла в мир. Она и в двадцатом веке выжила при разных режимах — это не минус и не плюс режима, это выражение подлинности русской культуры, к которой принадлежал человек, который нас сегодня здесь собрал».

Александр Михайлович Панфилов, прозаик, доцент кафедры новейшей русской литературы Литературного института:

«В моём выступлении будет меньше всего литературоведения, это будет такое отражение, такое личное воспоминание, хотя с нашими студентами я, в частности, прозу Константина Федина обсуждаю. Потому что с хорошим писателем всегда возникают, помимо научного интереса, личные отношения. Они иногда гораздо интереснее, нежели собственно научные. Начну с середины 80-х, когда я сам оказался в Литинституте. Представьте себе околосороклетнему молодому человеку, пытающегося писать, которому случайным образом в руки попадает книга “Города и годы” и который просто испытывает некоторое потрясение от этой книги. И понимает после этого, что русской литературы XX века он со своим школьным образованием просто не знал. Потому что все эти полёты пространственные, какие-то всхлипы сюжета — за этим нужно следить. Это очень достойный стиль, это обращение к каким-то пограничным жанрам. То есть это для меня просто было невиданно. Естественно, это вызвало интерес к серапионам, потому что узнал: Константин Федин был серапионом. Мы, конечно, мало знали со своим школьным образованием. Но в книжных магазинах продавался Шкловский “О теории прозы”, “О литературе” Эйхенбаума, какие-то книги Каверина продавались мемуарные. И человек, который этим заинтересовался искренне, мог более-менее всё узнать. Узнать, что все эти такие разные, прекрасные, голодные, молодые, счастливые люди — очень разные — собрались в Серапионовом братстве не просто так. То есть для них такие вещи, как обнажение приёма, ритмизованная проза и так далее — были вещи не случайные. Хотя понятно, что они делились там. И Константин Федин занимал правый фланг со своим модернистским романом “Города и годы”. Шкловский говорил: “Федин — парень хороший. Но слишком традиционен”. “Города и годы”, кстати, раскритиковал как раз Шкловский. И вот с этим потрясением и некоторыми знаниями я и мои ровесники пришли в Литературный институт. И тут случилось совершенно ужасное. Это была середина восьмидесятых годов. Вы помните, что происходило. Нам начали неустанно промывать уши из разнообразных идеологических брандспойтов. В конце концов случилась беда и трагедия — мы не захотели читать Федина. И чтоб вернуться к Федину, пришлось повзрослеть, всё осознать про эти брандспойты и после этого пере-

читать его и переоценить. И вот тогда уже настоящая оценка и установилась. Это произошло не скоро, это произошло к 2000-м годам — люди, которые занимались творчеством Федина, знают, сколько чуши о нём было сказано во второй половине 80-х и в 90-е годы. (Н. В. Корниенко мрачно: «И сейчас».) Сейчас уже тише это говорится, потому что те люди, которые привыкли побивать, скажем, Фадеева и Федина Александром Беком или Гроссманом, всё-таки поутихли. Они всё-таки узнали, что третий закон Ньютона универсален. И из тех гонителей, ниспровергателей и побивателей одних писателей другими можно превратиться просто в неудачника и немощного. И после этого наверняка происходит новое узнавание. Достаточно адекватное, честное, у многих влюблённое в Федина. Я не скажу, что мне Федин весь нравится. Но в творчество Федина 20-х годов я просто влюблён. Это касается даже не романа «Города и годы», который я советую студентам читать, потому что он очень интересен в смысле литературной учёбы. Это касается безумно интересного романа «Братья», прекрасно написанного, а кроме того таких повестей, как, например, «Старик». Кстати, одним из источников «Старика» стали воспоминания Чернышевского, написанные в камере тюрьмы. Чернышевского знал отец Федина. И рассказывал своему сыну, на какой бумаге — он ведь был хозяином писчебумажного магазина — на какой бумаге предпочитал Чернышевский писать в старости. Есть совершенно замечательная повесть «Наровчатская хроника»... (Из зала подсказывают: «Трансвааль».) Нет, я говорю о своих влюблённостях. Потому что отношения с хорошим писателем, близким писателем — это как отношения с любимым человеком: это череда любви — нелюбви, очарования — разочарования, а всё кончается — умерли они все в один день и стали счастливы. В «Наровчатской хронике» есть потрясающие символы, на которых, кажется, ещё никто не заострял внимание. Напомню. Федин написал эту повесть на материале своего сызранского опыта. Хроника пишется послушником некоего монастыря, который угодил в 1919 год. Чуть ли не единственный положительный человек в этой хронике — это игумен монастыря, который старается спасти монастырь в этой наступившей разрухе. Он добрый, он мудрый, он замечательный. И вот с ним как раз связан один из сильнейших образов этой вещи. Монастырь выписывал советскую газету, «Наровчатскую правду». У иноков монастыря хранились и старые «Епархиальные ведомости». Все эти газеты хранились на крыше, и однажды во время дождя с дырявой крыши натекло как раз на «Наровчатскую правду». Послушник вытаскивает эту «Наровчатскую правду» на крышу высушить, а сам бежит по делам в город. А когда возвращается, налетает ветер, и эта вся «Наровчатская правда» разлетается по окрестностям. И вдруг он видит настоятеля этого своего отца Рафаила, который в калитку рассматривает своих иноков, которые — кто в исподнем, кто в подштанниках, кто-то в подрысниках бегают и собирают в высокой траве эту «Наровчатскую правду». Настоятель хохочет, но тем не менее этого послушника бьёт по голове за то, что он ввёл в искушение братию. Но это не самое главное. Самое главное, когда собранные листы этой «Наровчатской правды» монахи приносят, то там оказывается, что на этих листах осталось только большими буквами слово «правда», а все остальное просто выжжено солнцем. Вот и понимайте как хотите. На самом деле, вся эта вещь — свидетельство о сломе нормы. Нормы, которая на протяжении веков творилась, создавалась не только и не столько

царями, священниками, ленинскими орлами, революционными демократами. Она хтонично вырастала. И почему-то это всё рухнуло. Об этом пишет Федин. Это, по-моему, 1924 или 1925 год. Высочайшей пробы проза. И эту прозу попытались в 1990-е годы просто закрыть. Как будто её нет. Слава Богу, всё это кончилось. Ещё одно личное воспоминание напоследок. Оно связано с Саратовом. Я наведни летом бродил по этому прекрасному городу. Там, конечно, советское градоустройство постаралось. Тем не менее старый Саратов по-прежнему прекрасен, мил, тёпел. И в нём, что меня поразило, сосуществует множество всяких стилей. Гармонично сосуществует. Барокко, постмодерн, архитектурные стили, немецкая улица со своей псевдоготикой. Какая-то эклектика. И это даже не самое главное. Самое главное было, когда я пошёл от радищевского музея, который, как многие знают, его внук художник Боголюбов создавал, чтобы возродить втоптанное в грязь имя своего деда. Мы всё время чьи-то имена втоптываем в грязь, а потом приходится их возрождать. Так вот, я пошёл от этого радищевского музея до музея-усадьбы художника Борисова-Мусатова, который в своих грёзах-картинах мечтал о небывалом, потом спустился к музею-усадьбе Чернышевского, который воспитал целое поколение революционной молодёжи, потом прошёл к музею Федина, который тоже размышлял всё время о месте интеллигенции в революции — как бы революцию ни понимали: как природную катастрофу, как логический результат наших ошибок, метаний или чьей-то глупости и трусости. И когда я прошёл все эти четыре музея и сел там как раз у памятника Федину, я понял, что наша культура — едина, взаимосвязана, взаимозависима. Это очень тёплое пространство, в котором мы существуем и которое надо хранить, в котором не надо устраивать никаких рукопашных схваток. И за это понимание отдельное спасибо Саратову и Федину».

Алла Михайловна Грачёва, доктор филологических наук, заведующая Отделом новейшей русской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом):

«Я очень рада быть сегодня здесь, в Москве, видеть саратовцев. Хочу донести до вас голос Петербурга, голос Ленинграда, потому что в жизни Константина Александровича Федина этот город значил очень много. Почти двадцать лет. Если представить это на возрастной шкале — мы ведь пока ещё живем не мафусаиловы века — это годы расцвета. Годы творческих свершений. Годы надежд и радостных заблуждений. И радужных заблуждений. У Федина с этим связан Ленинград. И немножечко ещё Петроград — в который он приехал. Надо сказать, что он был в Петрограде и покинул Ленинград, переехал в Москву в очень тяжёлые, переломные в жизни страны годы. Сначала он был фактически здесь в годы блокады Петрограда, когда даже те, кто не принял советскую власть, просто физически не могли уехать из города. И таким образом Федин, молодой становящийся литератор, увидел весь свет литературы Серебряного века. Покинул он Ленинград в 1937 году после многих своих свершений, становления как писателя, как организатора литературного процесса. Здесь не надо объяснять, какие это были тяжёлые годы в истории русской культуры. Основной мой герой — Алексей Михайлович Ремизов. Мне выпало счастье участвовать в коллективном труде, о котором сегодня идёт речь, и опубликовать переписку Федина и Ремизова. Алексей Ремизов был одним из тех, кто был таким как бы магистром, кто

рецензировал тот самый рассказ “Сад”, который выиграл приз на конкурсе Дома литераторов — молоденьких таких дарований. (Может, не столь юных днями, но ещё юных в литературе.) Переписка, завязавшаяся между ними с начала личных отношений, существовала до 1957 года, до дня смерти Ремизова, который в 1921 году покинул Россию и стал эмигрантом. Мы должны всё-таки литературу воспринимать ещё в человеческих образах, в человеческих взаимоотношениях. Приведу по памяти письмо Федина в Берлин Ремизову. Он пишет:

«Алексей Михайлович, я понимаю, что вы скучаете, у вас нет литературы. А у меня нет денег. Но я взял, снял с полок всё, что у меня было, и отослал вам. Книги ужасно дорого стоят, и я не могу их купить. Но я отдал все свои вам. Вот и всё. Чем могу, помогу».

В уже “серьёзные” годы, в начале 30-х, Федин был в Париже и посетил Ремизова-эмигранта. И вот в 1944 году появляется замечательная, абсолютно не оценённая книга “Горький среди нас”. Федин не случайно был академиком. Определённым образом он сочетал в себе литератора и историка литературы, и хранил вот это осознание литературного процесса. Потому что эти картины литературной жизни он фактически рисует. Такие яркие значимые фигуры. Он застал всех! Потому что тогда даже Мережковский, Гиппиус — те, кто хотел — они не могли выбраться из Петрограда. И вот в этих картинах литературной жизни Федин рисует яркие значимые фигуры — Фёдора Сологуба, Акима Вольтинского и Алексея Ремизова — тех, кто олицетворяет такое прекрасное ушедшее прошлое литературы Серебряного века, и те, кто как Ремизов, писатели, беременные русским авангардом, у которых молодые писатели черпают очень многое именно для развития художественного процесса. Само название “Горький среди нас” — это не любимое деление литературы на мы и они, враги и свои, чужие и наши. Это всё мы. Потому что мы — писатели. Это и Фёдор Сологуб, и Аким Вольтинский, и молодые Серапионовы братья, и Алексей Ремизов. И то, что пережил Федин за эту книгу — статья в “Правде”, где пишется, что Федин ставит этих, так сказать врагов, выше, чем друзей, и погружает Горького в эту среду врагов — это непростительная халатность (*Н. В. Корниенко: “Махровый реакционер”*.) Эта книга заканчивалась словами: “Я виделся с Ремизовым в Париже, но об этом я расскажу позже”. После окончания Второй мировой войны, когда возобновляются на какой-то момент связи литературной эмиграции и литературы, оставшейся на родине, советской литературы, и Ремизов получает весточку от Корнея Чуковского и от Федина, то он пишет: “Надо обязательно все книжки мои послать. Прежде всего Федину”. Он всё-таки успел перед самой смертью послать ему пронзительное письмо и все книги, которые хранятся сейчас в саратовском музее. И эта роль — не только как большого, крупного художника, но как художника в тяжёлые, непростые годы, когда искусственно пытались разделить на своих и чужих, Федин сохранял вот это высокое благородство осознания того, что мир писателя — это *наш* мир. Горький среди нас. В этом тоже большая справедливость и по отношению к Горькому, который тоже не так давно выпил, так сказать, свою чашу. Ремизов вёл такие удивительные дневники — он записывал то, что случилось днём, и так настроил своё творческое сознание, что каждую ночь в полусонном состоянии видел сон и записывал его. И вот там масса знакомых и писателей

из круга парижской эмиграции. Естественно, там масса воспоминаний о знакомых из тех ушедших блестящих годов Серебряного века. И очень немного людей из уже современной советской России. Там возникают Ахматова, Зощенко — эти сны актуализируются в связи с Постановлением о журналах “Звезда” и “Ленинград”. И, вы знаете, ему всё время снится Федин. Причём один из последних снов — цветущий сад, идёт Федин. А сбоку такая помета — Ремизов иногда делал пометы: “Я знаю: Федин всегда к хорошему”. Такая, знаете, коннотация. И вот, возвращаясь к тому, о чём я говорила, — последние слова о Ремизове в этом удивительном труде, не просто мемуарах, но труде писателя-историка “Горький среди нас”: “Я расскажу об этом позже”. И мне кажется, то, что сейчас предпринимается уникальными усилиями прежде всего сотрудников музея Федина в Саратове, сотрудниками Института мировой литературы и сотрудниками Пушкинского Дома — это как раз и есть реализация того, о чём говорит Константин Федин. Он рассказывает теперь нам, о чём не успел рассказать. Пусть позже, но его голос в этих переписках, в этих контактах совершенно между разными людьми доходит до нас. И вот в этом абсолютная современность мира этого великого писателя».

Елена Алексеевна Папкова, кандидат филологических наук, внучка Всеволода Иванова:

«Помимо того, что мне выпало большое счастье готовить переписку Константина Александровича и Всеволода Вячеславовича, я ещё рада тому, что, когда в 1970-е годы снимался фильм о Всеволоде Иванове, сохранилась уникальная запись голоса Федина. Предоставим слово самому Константину Александровичу:

“Первый раз я встретился с Всеволодом Вячеславовичем у Горького в его рабочем кабинете на Кронверкском. Когда вошёл, я не заметил, что между полками есть кто-то. Горький взял меня за бок и слегка повернул. И сказал: “Познакомьтесь, тоже писатель. Всеволо́д Ива́нов. Из Сибири. Да-с”. Я вижу исхудалого молодого человека в полувоенной одежде в обмотках на ногах. И он говорит малословно, почти скупно, но его речь удивительно точно переносит в какой-то особый мир. Вскоре после этой первой встречи Всеволод приходит ко мне и читает мне первую свою книгу рассказов маленькую, в обложечке, с тонко написанным названием “Рогульки”. Книжку набирал сам автор, Всеволод Иванов. И помогал ему другой наборщик из той типографии, где он служил раньше. Так я познакомился с фантастической речью, уже письменной речью Всеволода. Фантастической — потому что сочетается в ней всё: истинный реализм с какой-то фантазией. Вот эта черта его — какого-то полёта, какой-то пышности, праздничности слова вместе с очень точным и очень действительным выражением — это заронилось у него навсегда и это покоряет”.

К этому можно добавить — вот вы видели, насколько удивительным Константин Александрович был товарищем. Товарищем, который умел восхищаться другим, не просто приходил на помощь, а умел радоваться его радостям и умел вот так удивительно говорить о талантах близких ему людей. И Всеволод Вячеславович и Константин Александрович вместе прошли довольно большой жизненный путь. Их дружба длилась больше сорока лет, до смерти дедушки. Как вспоминает Всеволод Иванов, Федин ни много ни мало подарил ему брюки в 21-м году, потому что у того была шинель из Сибири, а брюки были такие, видимо, плохонькие. И как они, будучи серапионами

восточной группы, едва не побили Лунца после его статьи (об этом есть в письмах), как они отстаивали традиции русской классической литературы. Как потом в 30-е годы — это был непростой период, когда они участвовали в проектах Горького и готовили Первый съезд вместе с Горьким (не думаю, что с ним было легко, и дневники Федина сохранили это отношение, притом что оба любили Горького и считали себя его учениками). Жизнь рядом в Лаврушинском переулке, буквально в одном подъезде. Жизнь рядом в Переделкине. И тоже совместные какие-то дела. Мне больше всего запомнилось — это связано с Литературным институтом, — как оба защищали Беллу Ахмадулину и Давида Маркиша, когда их хотели выгнать из Литинститута. Нельзя сказать, что между ними не было разногласий — были, но они преодолевали всё, что вставало между ними (я думаю, инициатива тут была Константина Александровича, который называл дедушку Всеволодушка — до самых последних дней письма с таким обращением). Когда в 1963 году Всеволод Иванов ушёл из жизни, была подготовлена книга “Всеволод Иванов, писатель и человек”, которую открывали как раз воспоминания Федина. И вот как он пишет:

“Он заставлял петь камни, оживать ароматы, зацветать ветры. Таким я узнал его в 1921 году. Таким утратил его в 1963-м. Все наши десятилетия безуданного марша по жизни мы шагали с ним в ногу. И я не помню, чтоб в любую, даже самую тяжелую годину, после любой встречи с ним мне не становилось бы легче”».

Кира Борисовна Андроникашвили, кандидат филологических наук, внучка Бориса Пильняка:

«Федина и Пильняка связывало очень многое. Связывали корни. Мама Бориса Пильняка была из рода саратовских купцов. Пильняк регулярно в Саратов ездил, и детей своих туда привозил. И навещал, ездил по своим родным местам. И это их, конечно, объединяло с Фединым. Они оба учились в Коммерческом институте — не знаю, видели ли друг друга там, может быть, пересеклись. Разминулись, может быть, месяцами где-то. Знакомство их принято относить к 1921 году, когда Пильняк стал активно наезжать в Петербург и дружить с серапионовыми братьями. Надо сказать, что серапионовы братья не очень дружно его приняли. Там были объективные причины. Потому что Пильняк был очень энергичный, фамильярный, очень бурный, неудержимый, ему хотелось сразу всё объять. Всех полюбить, со всеми на ты перейти. Возможно, питерских писателей это как-то сдерживало. Но, тем не менее, у него сразу завязались дружеские отношения с Всеволодом Ивановым, с Фединым, с Никитиным, о чём очень волновался Максим Горький, который очень ревностно относился к молодым писателям и дотошно, почти в каждом письме, оберегал их от тлетворного влияния Бориса Пильняка. Когда в одном из писем Константин Федин поделился с Горьким своими творческими исканиями, что он стоит на перепутье — как писать, просто или мудрёно, он получил от Максима Горького большую отповедь. В оправдание дедушки скажу, что тут, может быть, причина кроется в некоторых личных обстоятельствах, о которых упоминал ещё Ходасевич, который сказал, что открыть эти обстоятельства время не пришло. Горький, который помог Пильняку с публикацией первого романа “Голый год” и так его открыто встретил, буквально через некоторое время от него резко отвернулся. Но это уже де-

тали. В общем-то, всю его жизнь, если не считать многочисленные отъезды Пильняка и занятость их в разных городах, Федин и Пильняк провели бок о бок. Их тесно очень связывали 22–23-й годы, работа в артели писателей “Круг”. Федин заменял Пильняка на время его отъезда в 23-м году. Все эти годы они тесно общались и обсуждали, как этому издательству жить, как строиться. Готовясь к сегодняшнему выступлению, я пересматривала письма. И должна сказать, что отношения, хоть и дружеские были, но они всё же на дистанции. Их переписка сугубо деловая, исключительно о творчестве, они делятся впечатлениями о произведениях друг друга. Переписка какая-то сдержанная, уважительная. Нет такого личностного панибратства, которое можно наблюдать в письмах Пильняка по отношению к другим. Эта переписка и дружба была, думаю, двух уважающих друг друга писателей, которые отдавали себе отчет в талантах друг друга и в том, что они принадлежат той “команде”, которая вершила русскую литературу, оглядываясь на свой внутренний мир, а не на окружающий.

Прочитаю вам письмо 1924 года, когда Пильняк был в Шихановском лесничестве Саратовской области (их родные места).

“4 июля 1924 г. Шиханское лесничество

Константинушко, дорогой, —

с мест общей нашей родины из тишины и жара наших дубовых лесов, от Волги, от гор в лесах и эхо, —

— из Шихановского лесничества, Вольского уезда, того самого, которое возникло при Павле I грамотой на имя графа Орлова-Денисова о том, что «войди ты на гору Шиханскую, и всё, что видит глаз твой — твоё», где в лесах стоят теперь полуразрушенные сторожки, да вот по соседству с нами нашли землянку с псалтырью, да где мы поселились (над Волгой, в горах, в сторожке, где спим на полу на траве, пьём молоко и сырые яйца, растим волчонка), мы вдвоём с Ольгой, —

— вот отсюда, сегодня, 4-го июля <1>924 — пишу я тебе это письмо с тем, чтобы у нас по-прежнему был мир, с тем, чтобы это моё письмо было мирным, как последнее твоё.

После Саратова мы не виделись, ты оставил мне письмо, в том письме, последние его строки очень тронули меня, по-хорошему, — о том, что нехорошо и жаль, что за последний год прошло между нами охлаждение. Для того, чтоб быть совсем открытым, скажу, что с моей стороны, да, была холодность к тебе, должно быть из-за мелочей, по двум причинам, потому, что тебе не понравилась повесть Ювенского (глупо это, а так, ибо мне решилось, что у тебя плохой вкус и «личничество»), и потому, что в «Круге» ты сделал несколько вещей, кои мне были обидны: — глупо это, летошним снегом поросло это, — а вот эти два месяца, когда я все время собирался написать тебе, поростили это и «совестливостью», так что «кто старое помянет» — и я никогда больше не вернусь к этому.

Ты спросишь, почему я собирался писать тебе два месяца, — потому что эти два месяца, за исключением суматошных дней в Москве, я писал и сидел за столом до остервенения, до ненависти к перу, — и только вчера кончил это сидение: вчера кончил роман, в десять с половиной листов, правда, много «стришкёный», но всё же, давшийся мне потом, имя роману «Россия — Расея — Русь»...

Напиши мне: на Москву, Поварская, 26, 8, тел. 2–32–39. Отсюда я уеду на днях, пробуду несколько дней в Саратове, а потом — в полярную экспедицию, — а потом... где Всеволод, — я пишу ему сегодня, чтобы спросить,

когда он в Китай, я тоже хочу собраться... в Китай. В Москве я буду числа до 25-го июля.

Целую крепко, питерцам поклон. Напиши о всяческих делах, о том, о сём, о себе, о твоём романе, о самочувствии. Я чувствую себя выжатой тряпкой, — но завтра сяду всё же снова за машинку, ибо выдумал два хороших рассказа и один хочу написать ещё здесь. — —

Целую крепко. Ольга Сергеевна кланяется. Поклон всем».

Вот так у них неровно было. Был ещё период охлаждения между ними — это 29-й год, когда началось разрушение Союза писателей. Началось оно с травли Пильняка за публикацию “Красного дерева” в “Метрополисе”. Это мы сейчас всё с вами знаем, что Пильняк был ни при чём. Не было бы Пильняка, был бы кто-то другой и был бы другой повод. Но, тем не менее, некий осадок и ощущение с близкого расстояния, что это именно Пильняк отчасти повинен в том, что разгромили Союз и в Москве, и в Питере, несколько охладили отношения. Но что говорить, от судьбы не уйдёшь. Где-то начиная с 33-го года у них отношения изменились. Видимо, какие-то внутренние обстоятельства (писателям, в общем, нелегко жилось) — отошли на второй план. И то, что их тянуло все эти годы и всю жизнь друг к другу, видимо, это уже вышло на первый план. И мне очень приятно, что последний год жизни Пильняка — а это был 36-й год (если не считать наезды, когда Пильняк с дочкой, Натальей Борисовной, моей тётей, ездил в Питер и когда они общались), последний год, когда Федин переехал в Переделкино. Пильняка уже перестали публиковать, многие уже считали его расстрелянным или арестованным. Его препарировали 28 октября 36-го года на заседании московском, и он уже никуда особо не ездил, жил в основном в Переделкине, и всего несколько человек близких друзей скрасили этот его последний год дружбой, верностью, ежедневными посиделками, своим присутствием. И среди них был Константин Федин».

Галина Николаевна Воронцова, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ, заведующая группой Собрания сочинений А. Н. Толстого:

«Уже первый роман Федина показал, сколько к этому времени писателем было передумано, осмыслено, сформулировано в виде вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Это потому, что вопросы были не из простых. Но тому поколению писателей дерзости хватало их задавать. Константин Александрович очень быстро стал профессиональным писателем. Его ранняя проза, которая была создана в 20-е и даже 30-е годы — конечно, предполагала эстетическое сопереживание читателя. “Города и годы” можно читать по-разному. Можно читать с точки зрения проблем, которые там заложены. С точки зрения модернистского сюжета. Но это произведение невозможно читать, не получая эстетического удовольствия. Творчество Константина Федина — неотменимая страница русской литературы XX века. Тот архив, который он оставил, более всего свидетельствует о многогранности писателя, которую здесь уже неоднократно отмечали. Прочитую письмо Алексея Толстого, современника Федина, с которым он дружил. Он пишет одному из членов Серапионова братства Николаю Никитину:

“Ты мне доставил очень большое удовольствие письмом. У нас нелепая жизнь. Когда-то такие письма между писателями — о впечатлениях, критиче-

ские, полемические, хвалебные — составляли часть литературной жизни. Это увеличивало чувство важности дела, приподнимало, создавало напряжённую ответственную обстановку для творчества. Злоба и зависть, конечно, были и тогда. И не в меньшей степени. Но было и другое. А у нас именно этого «и другого», перекидывающего мостки друг к другу, и не найдёшь”.

Но к счастью, в 1920-30-е годы эта описанная Толстым ситуация не была столь безнадежна, потому что традиции эпистолярного общения писателей, “перекидывавшего мостки друг к другу”, ещё существовала. И ярким носителем этой традиции был как раз Константин Александрович Федин. Его переписка с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым — в той же мере литературный памятник эпохи, как роман “Города и годы”, как его дневники, которые читали, читают и будут перечитывать, потому что там не только с необычайной щедростью раскрыта личность автора этого дневника, но и запечатлён образ времени. И, что очень важно, даны блистательные характеристики его современников. Приведу текст, который не может даже квалифицироваться как написанный для самого себя, дневниковый текст, потому что ряд этих характеристик перерастают в самостоятельное художественное эссе. Это относится к Алексею Николаевичу Толстому, с которым Федин был очень дружен. Написан был этот текст на следующий день после смерти писателя, то есть 24 февраля 1945 года.

“Целая эпоха связана у меня с Алексеем — двадцать лет, наполненных серьёзнейшим общением в искусстве, дружбой, приятельством, размолвками, мировыми, охлаждениями и вспышками привязанности. Всё это вытекало из его характера — женского, коварно-лукавого, широкого и мелочного одновременно. Всё соединённое с его образом неизгладимо, как сама жизнь. Гаргантюа, помещик, грубый реалист и циник, эстет и благородный русский сказочник, осмеятель символистов и сам символистский поэт, мастер, труженик, собутыльник — он жил с философией Омара Хайяма и ненавидел в жизни только одно — смерть...”

Он с лёгкостью отыскивал надлежащее место в обществе — будь то Петербург Блока или Париж эмиграции и смены вех, Ленинград НЭПа, Москва Кремлёвского величия и Указов. Его девиз был: делать всё для того, чтобы делать своё искусство. Но для того, чтобы сделаться великим художником, ему недоставало нищеты. Дар его был много выше того, что им сделано. Эпоха помогла ему стать виднейшим художником, потому что она требовала от талантов быть видными, но не великими. Никто после него не займёт его положения, потому что ни у кого нет его жажды занимать положение, в сочетании с великолепными данными для этого. Но Россия пожалеет не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был бы занять по природе. Художник в нём вечно бился с человеком за свои высшие права, но чересчур часто человек брал верх своими выгодными правилами.

И всё же это было существо гармоническое. Толстой не любил душевного раздора и не терзался им, как не любил житейских неприятностей. В сущности, он был «наслажденцем», и главная его сила заключалась в плотском обожании жизни. Никто не умел так описать счастье и бездумную радость бытия, как он. Размышления он допускал в своё душевное хозяйство только тогда, когда мысль утверждала силу, радость, удовольствие. Среди русских писателей он был поэтому редкостью.

Я хотел бы, чтобы за упокой его души было выпито столько, сколько я выпил с ним во время наших пирований...”

Ну а отношение Алексея Николаевича Толстого хорошо известно — будучи старшим современником Федина, он никогда ему не покровительствовал, но относился необычайно тепло, по-отечески и очень хорошо понимал масштаб личности его как человека и как писателя.

И последнее, чем я бы хотела закончить. Личность филолога-исследователя всегда формируется тем материалом, с которым он работает. И я уверена, что те, кто сейчас осваивает архив Константина Александровича Федина, проходят блестящую филологическую школу. Поэтому я всем нам желаю открытий на этом пути».

Сергей Фёдорович Дмитренко, доцент кафедры новейшей русской литературы, проректор Литературного института по научной и творческой работе:

«Прошу прощения, что занимаю ваше время, когда уже, по напоминанию здешних служительниц, *спят усталые игрушки, книжки спят*. Но не могу не сказать о том Федине, о котором сегодня ещё не сказали. Сегодня праздник не только у родных и близких Константина Александровича, но и у меня тоже сегодня “Федин день” — 27 февраля моему папе, Фёдору Никитичу, фронтовику, исполнилось бы 95 лет, он совсем немного не дожил до этого своего юбилея. Так вот: именно папа открыл мне Федина в самом раннем детстве, Федина — детского писателя. Здесь в презентации на экране проходит обложка его детской книжки “Сазаны”: с детства, с середины 1950-х годов помню эту обложку, эту фединскую книжку. Помню его рассказ о войне “Мальчик из Семлёва”. Это странный рассказ, когда читаешь его взрослым. Но соглашаешься, ибо сам пережил это, — хотя ребёнок-читатель в нём многое недопоймёт, благодаря рассказу очень многое почувствует.

Как помните, это рассказ о мальчике-партизане, который иногда и немцев убивал, а теперь оказался в столице на литературном вечере. И этот мальчик задаёт рассказчику, то есть писателю, вопрос: “Вот вы сегодня читали рассказ: что это — правда, или вы это придумываете?” “Зачем придумывать? — отвечает писатель. — Правда интереснее всякой придумки”. “Да-а, как бы не так!”, — возражает мальчик. И это “как бы не так!” — очень важный сюжет, когда, очевидно, сам Федин задумывается, что такое правда, что — придумка и что такое литература. Задумывается и передаёт этот сложнейший, мировоззренческий вопрос читателю-ребёнку. Вот, по-моему, очень важный урок Федина детям, урок надолго, а то и на всю жизнь.

И последнее, от Литинститута. Федина в Литературном институте читали всегда, и сейчас он есть в программах. А в советское время читали его фактически полностью, не только блистательного раннего. Читали даже “Первые радости”, “Необыкновенное лето”, “Костёр”. Хотя я, честно говоря, “Костёр” не дочитал. Подумал: если Федин его не дописал, почему я должен это недописанное дочитывать?! С тем передаю вам привет от доцента нашей кафедры новейшей русской литературы Игоря Ивановича Большчева, который как раз ведёт курс, в который входит Федин, где есть “Города и годы”, “Братья”, фединская серапионья проза. У Игоря Ивановича сегодня тоже день рождения, из-за коего он не смог здесь присутствовать, но пообещал, что своей маленькой дочке прочитает на сон грядущий “Сазанов”. Глядя на часы, понимаешь, что как раз в эти минуты и в его квартире звучит фединское слово. Так что и тем, у кого есть дети и внуки, то есть, пожалуй, всем нам,

предлагаю на радость зрителям ЦДЛ покинуть этот зал — наш вечер длится четвертый час — и отправиться к детским, внучьим и правнучьим кроваткам и колыбелькам с тем, чтобы тоже прочитать родным младенцам что-нибудь хорошее из дедушки Кости Федина».

Константин Александрович Роговин, внук Константина Александровича Федина:

«В заключение этого вечера мне хочется от всей нашей семьи, очень разветвлённой на сегодня, большой, поблагодарить всех присутствующих за то, что вы пришли, за память деда и очень уважительное, как мне показалось на этом вечере, отношение. Передать всем приветствие Нины Константиновны, нашей мамы, которой мы отметили 94-летие и которая, увы, не могла быть среди нас здесь. Но душой она, конечно, здесь и, конечно, она всех приветствует, очень всем благодарна, как и мы все, что вы пришли. Спасибо вам большое. Спасибо нашей замечательной Наталье Васильевне Корниенко, которая была инициатором этого вечера».

Н. В. Корниенко:

«Будьте все здоровы. И читайте Федина. Мы — очень богатая страна, у нас — замечательная русская литература XX века».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Корниенко Н. В.* Как идти, чтобы не сорваться в пропасть? (К истории создания романа К. Федина «Города и годы» // Константин Федин и его современники (Фединские чтения. Вып. 5). Саратов, 2013. С. 3–44.
2. *Луңц Л. Н.* Обезьяны идут!. СПб.: Инапресс, 2003. 435 с.
3. *Федин К. А.* Серапионовы братья о себе // Литературные записки. 1922. № 3. С. 27–28.

REFERENCES

1. *Kornienko N. V.* Kak idti, chtoby ne sorvat'sja v propast'? (K istorii sozdanija romana K. Fedina «Goroda i gody» // Konstantin Fedin i ego sovremenniki (Fedinskie chtenija. Vyp. 5). Saratov, 2013. P. 3–44.
2. *Lunc L. N.* Obez'jany idut!. SPb.: Inapress, 2003. 432 p.
3. *Fedin K. A.* Serapionovy brat'ja o sebe // Literaturnye zapiski. 1922. № 3. P. 27–28.